## Охотник за головами

О. Генри

Перевод под ред. В. Азова

По окончании войны между Испанией и Джорджем Дьюи я отправился на Филиппинские острова. Я был военным корреспондентом одной газеты и писал отчеты о военных действиях, но военных действий на Филиппинах никаких не было. Как-то раз наш главный редактор написал мне, что телеграмма в восемьсот слов, в которой я описывал наши дела-делишки, отнюдь не может считаться важной военной новостью. Пришлось отказаться и ехать домой.

Во время обратного путешествия на торговом судне я долго раздумывал над странными явлениями, которые мне пришлось наблюдать на этом сказочно-жутком архипелаге, населенном людьми желто-коричневой расы. Все эти маневры и стычки малой войны нисколько меня не интересовали. Зато я был точно зачарован странно-чуждым, таинственным обликом этих людей, устремлявших на нас, из недр неведомого прошлого, свой ничего не выражающий взор.

В особенности заинтересовало меня, когда я был в Минданао, очаровательно-оригинальное племя дикарей-язычников, известное под названием «охотников за головами». Это свирепые, непреклонные, безжалостные карлики, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень; которые шаг за шагом преследовали свою жертву сквозь не занесенные еще на карту леса, через опасные горы и бездонные пропасти, необитаемые дебри, которые всегда были тут, вблизи, как занесенная над жертвой десница судьбы, но выдавали себя лишь еле уловимыми признаками, точно зверь, птица или ползущая змея — хрустом ветки, например, нарушавшим внезапно тишину пропитанного испарениями, тяжелого ночного воздуха, или неожиданным падением целого потока капель с густой непроницаемой листвы какого-нибудь дерева-великана, или шорохом прибрежного тростника. Какими забавными казались они мне — эти крохотные существа, упорно преследовавшие одну цель!

Как подумаешь, метод их очаровательно, до смешного прост и безошибочен.

Есть у человека хижина, в которой он живет, выполняя жребий, предназначенный ему судьбой. К косяку бамбуковой рамы у входа прибита корзина, сплетенная из зеленых ивовых ветвей. Время от времени, в зависимости от того, когда заговорит в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, — он выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож. И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции и приносит с собой отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы, которую он с вполне понятной радостью опускает в корзину у входа. Это может быть голова врага, или друга, или даже совершенно незнакомого человека, в зависимости от того, что побудило его пуститься в поход: ревность, желание уничтожить соперника или только инстинкт спортсмена.

Во всяком случае, он будет вознагражден за свои труды. Все жители деревни, проходя мимо, останавливаются и поздравляют его. Точно так же при других, более бесцветных формах жизни ваш сосед останавливается, чтобы полюбоваться бегониями в вашем палисаднике и похвалить их. Темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды на это доказательство его любви к ней. Победитель сидит, жует бетель и самодовольно прислушивается к тихому шуму крови, капающей из перерезанных артерий. Временами он оскаливает зубы и хрюкает, точно носорог, — что должно означать смех, — при мысли о том, что похолодевшее, обезглавленное тело, составляющее придаток к нынешнему украшению его хижины, становится добычей коршунов, которые кружатся над лесными дебрями Минданао.

Воистину, меня прельщала веселая жизнь охотника за человеческими головами. Он свел искусство и философию к простейшему жизненному кодексу. Отрубить голову врага, положить ее в корзину у входа в свой замок и смотреть, как она лежит там — точно безжизненная вещь, лишенная могущества, всякой хитрости и возможности повредить... Да есть ли лучший способ разрушить коварные планы этого врага, опровергнуть все его доводы и доказать свое превосходство над его мудростью и ловкостью?

Капитаном судна, на котором я возвращался домой, был некий швед, которому часто взбредали на ум разные фантазии; на сей раз он вздумал изменить свой курс; он высадил меня, выразив мне при этом свое искреннее сочувствие, в маленьком городке, на тихоокеанском берегу, в одной из республик Центральной Америки, на несколько сот миль южнее того порта, куда он взялся меня доставить. Но мне надоели вечное передвижение и экзотические фантазии, и потому я не без удовольствия соскочил на твердый песок городка Мохада, сказав себе, что я здесь найду тот отдых, которого я так жаждал. В конце концов, куда лучше остаться здесь (так я думаю) и прислушиваться к убаюкивающему, успокоительному плеску волн и к шороху ветра в пальмах, чем сидеть на набитом конским волосом диване в родительском доме на Востоке, наполняя желудок смородинным сиропом и домашними печеньями; там вокруг меня будут вечно торчать самые скучные из всех родственников и слушать, развесив уши, мои слюнявые рассказы о колониальных приключениях.

Когда я в первый раз увидал Клоэ Грин, она стояла вся в белом в дверях дома своего отца; это был домик из высушенной глины, крытый черепицей. Она чистила тряпочкой серебряную чашку и казалась жемчужиной на фоне темного бархата. Она кинула мне довольно продолжительный (что было очень лестно), но вместе с тем уничтожающе-неодобрительный взгляд. После этого она вошла в дом, напевая какую-то веселую песенку, чтобы показать, как мало значения она придает моей особе.

Это было вполне понятно: дело в том, что доктор Стамфорд (самый легкомысленный из всех врачей на всем протяжении между Джоано и Вальпараисо) и я, мы шли по немощеной улице, описывая зигзаги, да еще фальшиво напевали при этом старый гимн на мотив негритянской песенки. Мы возвращались с завода искусственного льда — единственного места для кутежей во всей Мохаде; мы там играли на бильярде, причем раскупорили немало черных, покрытых белым инеем бутылок, которые мы за шнурки вытаскивали из холодных чанов, где их хранил старик Сандоваль.

Я сразу повернулся к доктору Стамфорду; винные пары у меня мгновенно улетучились, и я был трезв, как сторож, стоящий с булавой у входа в кафедральный собор. В этот миг я понял, что мы не что иное, как свиньи перед бисером.

— Ах ты, скотина, — сказал я, — ведь это наполовину твоя вина! А в остальном виновата эта проклятая страна! Лучше бы я уехал в свое родное захолустье и умер бы там после дикой оргии с смородинным сиропом и домашними булками. Тогда бы не было этого позора!

Громкий хохот Стамфорда разнесся по пустынной улице.

— И ты тоже! — крикнул он. — В один миг — скорее, чем пробку из бутылки вытащить! Н-да, она приятно запечатлевается на сетчатой оболочке глаза. Но смотри, не обожги пальцев! Вся Мохада скажет тебе, что счастливый смертный — это Луис Дево.

— Это мы еще посмотрим, — сказал я. — Узнаем, действительно ли он счастливый и действительно ли он смертный.

Я решил, не теряя времени, познакомиться с Луисом Дево. Это мне легко удалось: иностранная колония в Мохаде насчитывала не больше десятка членов. Все они ежедневно собирались в некоей полупочтенной гостинице, содержимой каким-то турком. Я решил сблизиться сначала с Дево, а затем уже предстать перед моей «жемчужиной на пороге»; я успел научиться немного тактике войны, и мне было известно, что не следует наносить удара, не произведя разведки сил неприятеля.

Какое-то мрачное разочарование — нечто близкое к панике охватило меня, когда я оценил его преимущества. Он оказался человеком в высшей степени уравновешенным, очаровательным, вполне знакомым со всеми светскими обычаями, чрезвычайно тактичным, крайне любезным и гостеприимным; к тому же, он обладал каким-то особым умением держать себя вежливо и свободно, с примесью небрежного высокомерного сознания своей силы. Я чуть не перешел границы приличий, стараясь вывернуть его наизнанку, чтобы отыскать в нем ту слабую струнку, которую я так жаждал найти. Но я ошибся в своих надеждах. Поневоле я пришел к горькому сознанию, что Луис Дево — настоящий джентльмен, достойный того, чтобы с ним сразиться не на живот, а на смерть; и я дал себе клятву сделать это. Он был одним из крупных местных негоциантов и занимался экспортом и импортом. Целый день он сидел в своей изысканно обставленной конторе, окруженный произведениями искусства и другими признаками его высокой умственной культуры.

По наружности это был стройный, не особенно высокий человек; его небольшая, красивой формы голова была покрыта густой шапкой темных волос, коротко подстриженных; густую, темную бороду свою он тоже подстригал клинышком. Манеры его можно было считать образцовыми.

Довольно скоро я стал частым и желанным гостем в доме у Гринов. Свою любовь к кутежам я стряхнул с себя, как пришедший в ветхость плащ. Я начал готовиться к борьбе со всей тщательностью тренирующегося борца и с самопожертвованием брамина.

Что касается Клоэ Грин, то я не стану утомлять вас сонетами, посвященными ее бровям. Это была чудесная, полная женственности девушка, крепкая и здоровая, как ноябрьское яблоко; таинственности в ней было не больше, чем в оконном стекле. У нее были свои забавные маленькие теории, которые она вывела из практики и в которых афоризмы Эпиктета сидели бы как в трико.

Кто знает, не обладал ли в конце концов этот старый болван мудростью?

У Клоэ был отец, его преподобие Гомер Грин, и перемежающаяся мамаша, которая иногда, в сумерки, безлично разливала чай. Его преподобие Гомер Грин был весь какой-то шершавый; у него была работа, которой он посвятил всю свою жизнь. Он писал толкование к Библии и дошел до Книги Царств. Так как я, по-видимому, являлся претендентом на руку его дочери, то я и оказался самым подходящим приемником для его авторских излияний. Он так вбил мне в голову родословное древо Израиля, что я иногда громко кричал во сне: «...а Аминадаб роди Радамеса, а Радамес роди Аиду» — и так далее, покуда он не перешел к следующей книге. Я как-то раз высчитал, что толкование его преподобия будет доведено до семи сосудов, о которых упоминается в Апокалипсисе, приблизительно на третий день после их вскрытия.

Луис Дево был так же, как и я, частым посетителем и близким другой Гринов. У них я чаще всего и встречался с ним; я никогда в жизни еще не ненавидел более приятного и интересного во всех отношениях человека.

К счастью или к несчастью, на меня смотрели как на «мальчика». Я был очень моложав; кроме того, у меня, кажется, был трогательный вид бездомного сироты, который всегда действует на материнские чувства, таящиеся в душе у каждой девушки; увы, он также вызывает папаш на разглагольствования и длинные изложения своих проклятых любимых теорий.

Клоэ называла меня «Томми»; она относилась ко мне как сестра и вышучивала все мои попытки ухаживать за ней. С Дево она была куда более сдержанна. Он напоминал героя романа; он мог бы подействовать на ее воображение и на самые глубокие ее чувства, если бы только сумел понравиться ей. Я был ближе, но зато меня не окружал романтический ореол. Передо мной стояла задача завоевать сердце Клоэ всеми средствами, которые дозволены истинному американцу: прямотой, смелостью и ежеминутной готовностью пожертвовать собой ради нее. Вот на что я надеялся, чтобы сломить ту стену дружбы, которая стояла между нами. Я хотел, — если только сумею, — покорить ее при свете дня, не прибегая к помощи лунного света, музыки и всяких годных лишь для иностранцев фокусов.

Ничто не указывало, чтобы Клоэ отдала свое сердце кому-либо из нас. Впрочем, она как-то раз намекнула мне на то, что ей нравится в мужчине. Это было безумно интересно, но приложить к практике полученные сведения нельзя было никак. Перед этим я изводил ее в двенадцатый раз перечислением и изложением моих чувств к ней.

— Томми, — сказала она, — я не хотела бы, чтобы человек доказывал свою любовь ко мне тем, что стал бы во главе армии и пошел бы завоевывать соседнее государство, стреляя в людей из пушек. Нет, Томми, для женщины играют роль вовсе не великие подвиги, совершаемые в мире. В те дни, когда рыцари в полном вооружении разъезжали по свету, ища, как бы сразиться с драконом, часто случалось, что сидевший дома паж получал руку прекрасной дамы, — и это лишь потому, что он был тут, под рукой, мог вовремя поднять упавшую перчатку или принести ей плащ, как только становилось свежо. Тот человек, которого я полюблю, — кто бы это ни был, — должен проявить свою любовь в мелочах. Если я хоть раз ему скажу, что я не люблю, когда мой спутник идет слева от меня, он не должен уже это забывать. Он должен также помнить, что я ненавижу яркие галстуки; что я предпочитаю сидеть спиной к свету; что я люблю засахаренные фиалки; что со мной нельзя разговаривать, когда я любуюсь отражением лунного света в воде, и что мне очень, очень часто хочется фиников с начинкой из грецких орехов.

— Это пустяки, — сказал я, нахмурив брови. — Любой хорошо вышколенный слуга окажется на высоте положения.

— Он должен также, — продолжала Клоэ, — напоминать мне, что я хочу, — в тех случаях, когда я сама не знаю, чего я хочу.

— Вы уже начинаете повышать свои требования, — сказал я. — По-видимому, вам нужен первоклассный ясновидящий.

— А если я говорю, что умираю от желания послушать сонату Бетховена, и при этом топаю ногой, он должен по этим признакам понять, что моя душа жаждет соленого миндаля; и он должен иметь наготове коробку миндаля в соли в кармане.

— Ну, — говорю я, — теперь я совсем стал в тупик Не могу понять, кем должна быть эта родственная вам душа — импресарио или кондитером?

Клоэ сверкнула своей жемчужной улыбкой.

— Сочтите почти половину моих слов за шутку, — продолжала она. — Но не относитесь слишком легко к мелочам, милый мальчик. Будьте рыцарем без страха и упрека, если вы не можете иначе, но пусть это никому не бросается в глаза. Большинство женщин — лишь большие дети, а большинство мужчин — лишь малые ребята. Старайтесь нам понравиться, но не пытайтесь подавлять нас. Если нам нужен герой, то мы сумеем превратить в него даже скромного кондитера, когда он в третий раз поймает на лету носовой платок, который мы уроним.

В этот вечер у меня сделался приступ злокачественной малярии. Это нечто вроде тропической лихорадки с разными ухищрениями и усовершенствованиями. Температура у больного вскакивает, забирается высоко-высоко, выше сорока, и сидит себе там, «лихорадочно» подсмеиваясь над хинным деревом и препаратами из угольного дегтя. Злокачественная малярия относится к области элементарной математики, а не медицины. Формула ее весьма проста: жизненная энергия + желание выжить + продолжительность болезни = результату.

Я улегся в постель в своей маленькой, крытой соломой хижине из двух комнат, где я так удобно устроился, и послал за ромом. Ром был вовсе не для меня. В пьяном виде Стамфорд был лучшим врачом на всем пространстве между Кордильерами и Тихим океаном. Он пришел, сел у моей кровати и начал поглощать ром, чтобы привести себя в соответствующее состояние.

— Мальчик мой, — сказал он, — невинная лилия моя, вернувшийся на путь истины Ромео, лекарства тебе не помогут. Но я дам тебе хины: она горькая и потому возбудит в тебе ненависть и злобу — два возбуждающих средства, которые повысят на десять процентов твои шансы на выздоровление. Ты крепок, как молодой бычок, и ты поправишься, если только лихорадка не нанесет тебе какого-нибудь удара врасплох.

В течение двух недель я лежал на спине и чувствовал себя как индусская вдова на пылающем погребальном костре. Старая Атаска, неученая сиделка-индианка, торчала у дверей как окаменелое олицетворение идеи «И к чему все это?». Она добросовестно исполняла свои обязанности, которые состояли преимущественно в одном — следить за тем, чтобы время протекало правильно и чтобы колеса его ни за что не задевали. Иногда я воображал, что все еще нахожусь на Филиппинах или — еще хуже, — что я соскальзываю с набитого конским волосом дивана в моем родном захолустье.

В один прекрасный день я приказал Атаске исчезнуть, а сам встал и тщательно оделся. Я измерил температуру и не без удовольствия увидел, что у меня 104°[[1]](#footnote-1). Я с большим вниманием совершил свой туалет; галстук я заботливо выбрал темного, не кричащего оттенка. Зеркало сказало мне, что я выгляжу неплохо, несмотря на болезнь. Лихорадка придавала блеск моим глазам; щеки и тело порозовели. И вдруг, пока я стоял и глядел на свое изображение, я вспомнил про Клоэ Грин — про то, что прошел целый миллион эонов с тех пор, как я с ней виделся; вспомнил я и про Луиса Дево и про то, сколько времени он выиграл, — и краска то исчезала, то появлялась у меня на лице.

Я направился прямо к дому Гринов. Мне казалось, что я не иду, а, скорее, плыву: я еле чувствовал землю под ногами. Я даже решил, что злокачественная малярия — очень хорошая вещь, если она может придать человеку столько силы.

Клоэ и Луис Дево сидели перед домом, под тентом. Она вскочила и протянула мне обе руки.

— Ах, как я рада, как я рада, что вы опять стали выходить! — воскликнула она, и слова ее казались мне жемчужинами, нанизанными в фразу. — Вы поправились, Томми, — или вам лучше, разумеется? Я хотела зайти навестить вас, но меня не пускали.

— О да, — небрежно сказал я, — это был пустяк. Маленькая лихорадка. Как видите, я уже выхожу.

Мы посидели втроем и разговаривали с полчаса. Вдруг Клоэ устремила вдаль, на океан, жалобный, полный тоски, взгляд. Я видел, что в ее синих, как море, глазах светится глубокая, безумная жажда чего-то. Дево — черт бы его побрал — тоже заметил это.

— В чем дело? — спросили мы одновременно.

— Пудинг из кокосовых орехов! — жалобно сказала Клоэ. — Мне давно хочется его, целых два дня, страшно хочется! Это уж не желание — это превратилось в навязчивую мысль.

— Сезон кокосовых орехов прошел, — сказал Дево этим своим голосом, который придавал жгучий интерес самым обыкновенным его словам. — Я думаю, что в Мохаде вряд ли найдется сейчас хоть один. Туземцы употребляют их, только когда они еще зеленые и молоко свежее. Все спелые орехи они продают на пароходы.

— А нельзя ли заменить пудинг омаром или кроликом по-уэльски? — спросил я с идиотски-любезным видом человека, только что перенесшего злокачественную малярию.

Клоэ чуть было не сделала недовольной гримасы, но у нее был такой хороший характер и такой очаровательный профиль, что гримаса так и не вышла.

Его преподобие Гомер Грин просунул в дверь свое отороченное горностаем лицо и присоединил свое толкование к нашей беседе.

— Иногда бывает, — сказал он, — что можно найти сухие орехи у старика Кампоса в маленькой лавочке на горе. Но было бы лучше, дочь моя, если бы ты сдерживала столь необычайные желания и с благодарностью принимала бы ту пищу, которую Господь посылает нам каждый день.

— Чушь! — сказал я.

— Как вы сказали? — резко спросил его преподобие.

— Я говорю, сушь страшная... дождя давно не было, — сказал я. — Может быть, — продолжал я заботливо, — кокосовый орех можно заменить грецкими орехами в пикулях или фрикасе из венгерских орешков?

Все посмотрели на меня: на лицах отразилось некоторое удивление.

Луис Дево встал и начал прощаться. Я следил за ним глазами, покуда он шел до угла своей медленной и величественной походкой. Вот он повернул за угол: ему нужно было пойти к себе, в свои обширные склады и магазины. Клоэ извинилась передо мной и вошла в дом; ей нужно было распорядиться насчет кое-каких мелочей для обеда, который всегда бывал у Гринов в семь часов. Она была великолепной хозяйкой. Я уже пробовал ее пудинги и хлеб и был в восторге от них.

Когда все ушли, я как-то случайно повернул голову и увидел корзину, сплетенную из зеленых ивовых ветвей, висевшую на гвоздике на косяке дверей. И вдруг на меня нахлынули воспоминания об охотниках за человеческими головами, и с такой силой, что в моих горевших от жара висках громко застучала кровь. Да, я вспомнил про этих свирепых, безжалостных карликов, которые никогда не показывались, но тайное присутствие которых вселяло ужас и бросало вас в дрожь в самый жаркий полдень... Время от времени, в зависимости от того, когда заговаривает в нем честолюбие, тщеславие, скука, любовь или ревность, один из них выползает и бесшумно отправляется по следу, захватив с собой тяжелый нож... И затем он с торжеством возвращается из своей экспедиции, и приносит с собою отделенную от туловища окровавленную голову своей жертвы... темнокожая девица, которой увлекается счастливый охотник, стоит тут же: грудь ее лихорадочно вздымается, и она кидает нежные, тигриные взгляды, на это доказательство его любви к ней...

Я потихоньку выбрался от Гринов и пошел к себе в хижину. Я схватил висевший на гвозде мачете[[2]](#footnote-2), тяжелый, как большой нож мясника, и более острый, чем безопасная бритва. А затем я направился, внутренне смеясь, в великолепно обставленный кабинет месье Луиса Дево, узурпатора моих прав на руку Жемчужины Тихого океана.

Дево умел быстро соображать. Когда я открыл дверь в его комнату, он всего раз взглянул на мое лицо, затем на мачете в моей руке и точно испарился куда-то. Я побежал к черному ходу, пинком ноги открыл дверь и увидел, что он с быстротой лани мчится по дороге в лес, опушка которого виднелась ярдах в двухстах. Я тотчас же с криком погнался за ним. Я помню, что мне попадались на пути женщины и дети; они орали и кидались в сторону.

Дево бежал быстро, но я был сильнее его. Не успели мы пробежать около мили, как я почти настиг его. Он ловко увильнул от меня и кинулся в овраг, который переходил в небольшое ущелье. Я бросился туда за ним, ломая ветви, и не прошло и пяти минут, как я загнал его в угол, образуемый двумя отвесными скалами. Тут его инстинкт самосохранения придал ему смелости; так случается нередко и с затравленным зверем. Он повернулся ко мне, совершенно спокойный, с искаженной улыбкой на лице.

— Ну, Рэберн, — сказал он. Он сделал такое ужасное усилие, чтобы говорить непринужденно, что я весьма невежливо и грубо расхохотался ему в лицо. — Да ну же, Рэберн, — сказал он, — бросим эту ерунду. Конечно, я знаю, что виновата ваша болезнь и что вы не в своем уме; но возьмите же себя в руки — отдайте мне этот дурацкий нож Давайте, вернемся домой и переговорим обо всем.

— Я вернусь, — сказал я, — с вашей головой. Посмотрим, как она будет разглагольствовать, лежа в корзине у дверей.

— Да бросьте, — начал он меня уговаривать, — я вовсе не такого дурного мнения о вас и не могу допустить, что вы валяете дурака. Но даже причудам спятившего от лихорадки идиота должен быть предел. Что это за чушь про головы да про корзины? Возьмите себя в руки и бросьте эту дурацкую тяпку для тростника. Ну, что подумает о вас мисс Грин? — сказал он, стараясь ласково уговорить и умаслить меня, точно капризного ребенка.

— Слушайте, — сказал я, — наконец-то вы верно попали. Что она обо мне подумает? Слушайте! — повторил я. — Есть женщины, — сказал я, — которые смотрят на диваны с конским волосом и на смородинный сироп, как на дрянь. Для них даже размеренные модуляции ваших тщательно подстриженных речей звучат точно падение гнилых слив ночью с дерева. Это те девушки, которые ходят взад и вперед по деревне, презирая пустые корзинки, висящие у дверей молодых людей, которые хотят пленить их сердце. Сейчас ждет, — сказал я, — одна из таких девушек. Только дурак старается прельстить женщину тем, что ноет у нее на пороге или исполняет все ее капризы, как лакей. Все они — дочери Иродиады! Чтобы пленить их, нужно собственноручно положить к их ногам голову. А теперь, Луис Дево, подставьте шею. Не будьте трусом. Довольно с вас того, что вы болтун, годный лишь для дамской гостиной.

— Ну, ну, перестаньте, Рэберн, — в страхе сказал Дево. — Ведь вы узнаете меня, не правда ли?

— О да! — сказал я. — Я узнаю вас. Я узнаю вас. Я узнаю вас. Но корзинка пуста. И старики, и молодежь, и темнокожие девушки, и те, что белы, как жемчужины, — все ходят по деревне и видят, что она пуста. Станете ли вы сейчас на колени, или же мне придется с вами бороться? Непохоже это на вас — вы ведь не любите ничего грубого и неприличного. Но корзинка ждет вашей головы.

Тут он совсем обезумел. Мне пришлось ловить его: он попытался проскочить мимо меня, точно испуганный заяц. Я бросил его на землю и поставил ногу к нему на грудь; но он начал извиваться, точно червяк, хотя я несколько раз взывал к его чувству приличия и доказывал ему, что его долг по отношению к самому себе как к джентльмену обязывает его не поднимать скандала.

Но наконец я улучил минуту и занес свой мачете.

Работа оказалась трудной. Он бился, как цыпленок, пока я наносил ему удары: пришлось хватить его раз шесть-семь по шее, раньше чем отлетела голова; но наконец он затих. Я увязал его голову в свой носовой платок. Глаза его три раза открывались и закрывались, пока я прошел шагов сто. Я был весь красный от стекающей крови, но не все ли это было равно. Я с наслаждением щупал короткие густые темные волосы и тщательно подстриженную бороду.

Я дошел до дома Гринов и швырнул голову Луиса Дево в корзину, все еще висевшую на гвозде у дверей. Затем я сел на кресло под тентом и стал ждать. До захода солнца оставалось часа два. Клоэ вышла. Она, видимо, удивилась.

— Где это вы были, Томми? — спросила она. — Вас тут не было, когда я недавно выходила сюда.

— Загляните в корзинку, — сказал я, вставая.

Она посмотрела и испустила легкий крик — крик восторга, как я с удовольствием заметил.

— Ох, Томми! — сказала она. — Ведь я именно этого-то от вас и хотела! Немножко течет эта штука, но это неважно. Разве я вам не говорила? Мелочи играют большую роль. И вы вспомнили!

Мелочи! А ведь она держала в своем белом переднике окровавленную голову Луиса Дево. Струйки красной жидкости расплывались у ней на переднике, и капли стекали на пол. Лицо у нее было веселое, полное нежности.

«Мелочи, нечего сказать, — подумал я еще раз, — Филиппинские дикари правы. Вот что любят женщины!»

Клоэ приблизилась ко мне. Вокруг не было видно ни души. Она взглянула на меня своими синими, как море, глазами; эти глаза выражали теперь то, чего я никогда раньше в них не видел.

— Вы заботитесь обо мне, — сказала она. — Вы сами — тот человек, которого я вам описала. Вы думаете о мелочах, а именно мелочи и делают жизнь приятной. Тот, кого я люблю, должен помнить малейшее мое желание и доставлять мне маленькие удовольствия. Он должен принести мне персик в декабре, если я этого захочу, — и я буду любить его до июня. Мне вовсе не нужен рыцарь в латах, который убивает своего соперника или умерщвляет дракона ради меня. Вы мне очень нравитесь, Томми.

Я нагнулся и поцеловал ее. Но тут на лбу у меня выступила испарина, и я почувствовал слабость. С передника Клоэ начали исчезать красные пятна, а голова Луиса Дево превратилась в коричневый высохший кокосовый орех.

— К обеду будет кокосовый пудинг, Томми, мальчик, — весело сказала Клоэ. — Вы непременно должны прийти. А теперь мне нужно на кухню.

Она грациозно вспорхнула и исчезла.

Доктор Стамфорд торопливо приближался. Он схватил мой пульс с таким жестом, точно это была его собственность, которую я у него похитил.

— Второго такого идиота, как ты, не найти даже за стенами желтого дома! — сказал он, страшно рассердившись. — Почему ты встал с постели? И сколько глупостей ты тут натворил! Ничего удивительного, когда у тебя пульс стучит, точно молот!

— Какие глупости? — сказал я.

— За мной послал Дево, — сказал Стамфорд. — Он видел из своего окна, как ты вошел в лавку к старику Кампосу; потом ты погнался за ним на гору, с его собственным ярдом в руках; а затем ты вернулся в лавку, взял оттуда самый большой кокосовый орех и убежал с ним.

— В конце концов, играют роль именно мелочи, — сказал я.

— Сейчас для тебя играет роль только постель, — сказал он. — Пойдем со мной сейчас же, иначе я откажусь тебя лечить. Король идиотов этакий!

Таким образом, я в этот вечер остался без кокосового пудинга; зато я перестал всецело доверять методу дикарей — охотников за головами. Быть может, темнокожие девушки уже много веков ходят по деревне и грустно глядят на головы, лежащие в корзинах у входа в хижины, и сожалеют о том, что там не лежат совсем иные, менее кровавые трофеи!

1. По термометру Фаренгейта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нож, которым рубят сахарный тростник. [↑](#footnote-ref-2)